

С НАЧАЛА тонкие книжечки в ярких дет-издатовских обложках, потом изумление перед реальностью человека с медленным хрипловатым разговором, его космическая отдаленность — он залетел на мгновение в старый особняк на улице Стопани, — потом привычное, радостное общение на семинарах, где думалось обо всем, о многом, бог знает о чем... И потом теплая, все растущая, громадная доброта... Таким был Константин Георгиевич в моей жизни. Нескромно? Да, может быть.

Но иначе не скажешь. Константин Георгиевич вошел в нашу жизнь — и в мою тоже — влился, впечался, осветил, одарил. Ранняя весна тридцать девятого года, мне тринадцать лет, я езжу вечерами на метро от Библиотеки Ленина до Кировских ворот, в переулок Стопани, в Дом пионеров, с двумя товарищами из класса, Левкой и Олегом. Левка пишет бесконечные научно-фантастические романы в толстых общих тетрадях в клетку, он известен в школе как местный Гумбольдт, как Леонардо из седьмого «Б», ибо он биолог, археолог, географ, океанограф, художник, музыкант и лишь в последнюю очередь романист. Левка записался в географический кружок. Олег — в исторический, хотя из рабского подражания Левке он тоже берется иногда сочинять произведения — детективные, про немецких шпионов, которые действуют под видом пожилых счетоводов и прелестных актрис, но у Олега, конечно, не хватает терпения, и больше трех страниц он написать не в силах. Я же неисцелимо болел писательской чесоткой. Иногда я вскакиваю ночью, сажусь к столу и в сомнамбулическом состоянии пишу страниц десять какой-нибудь фантастики. Стараясь наверхстаки упушенное: Левка пишет свои романы с пятюго класса, а я только начал.

На втором этаже мы растаемся. Я открываю высокую белую дверь, на которой висит на шнурочках табличка «Литературный кружок». Вера Ивановна Кудряшова, наша руково-дительница, шепчет: «Скорей занимай место! Ты опоздал! Мы ждем Паустовского!» Я, действительно, опоздал, все лучшие места вокруг столика, стоящего посреди комнаты, заняты, и когда появляется Паустовский в сопровождении бледной сияющей Веры Ивановны, — он двинулся не спеша между стульями, склонив голову, глядя вниз, чтобы никого не задеть, улыбаясь несколько смущенно, совсем обыкновенный, непохожий на писателя, скорее учитель, в сером сюртуке, темнотиный, с худыми вальными щеками, охотник, обветренный тайгой, рот крепко сжат, сухие губы, что-то пиратское в этой складке, похож на старого далматинского пирата, ему бы феску, кальян, — и вот он садится к столику, я почти не вижу его. Мне приходится встать. Паустовского я читал много, тогда мне казалось — почти все. Он один из любимых: «Судьба Шарля Лонсевилля» и «Летние дни» — это недавно. А еще раньше — «Колхида», «Кара-Бугаз» и «Черное море». И совсем недавно ходил в детский театр на постановку об одном астрономе, который заблуждался: «Созвездие Гонимых Псов».

Приключения, путешествия, моряки, благородные люди, смельчачи и трусы, необыкновенные женщины, звери, охотники, леса. Все это чем-то напоминает моих излюбленных Фенимора Купера, Чарльза Робертса и Густава Эмара, но как-то ближе, понятней и гораздо заманчивей: у Купера и Эмара захватывающе интересно, но недосыгаемо, а у Паустовского — наслаждение жизнью, которое ждет и не минует тебя. И так хочется в эту жизнь скорей!

Паустовский рассказывает о своих друзьях Гайдара и Фраермане. Задают много вопросов. Ведь все, кто собрался в этой комнате, хотя в будущем стать, ну, если не писателями (звучит страшновато), то журналистами, литературными сотрудниками. Паустовский говорит:

— Нет ничего тяжелее писательского труда.

Голос негромкий, почти

тихий, с хрипотцой. Голос человека, углубленного в себя, чем-то очень утомленного. Да, видно, так — нет ничего тяжелее! Но некоторые сомнения меня все-таки гложут. А как же Левка? Он пишет с необычайной быстротой. Толстую общую тетрадь за пятьдесят пять копеек он может исписать за три дня. Да я и по себе знаю. Рассказ про яйца вымершего динозавра, которые нашел один хозяин гостиницы в Коста-Рике, я написал за одну ночь!

Потом Паустовский задает нам вопросы: — А ты о чем пишешь? А ты?

Один парень написал рассказ об испанской войне. Другой — о том, как ходил с отцом на стадион, смотрел басков. Девочка писала о домашних животных, очень остроумно, особенно о кошках. Еще одна сказала, что ее увлекает мистика. Паустовский заинтересовался

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

УРОКИ МАСТЕРА

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского. О мастере русской прозы, взыскательном наставнике молодых литераторов рассказывает Юрий Трифонов.

мальчиком, который сказал, что пишет о червях. О том, как накопал червей для рыбалки, положил в банку, а другой мальчик, ну и так далее, чепуха. Почему-то Паустовский долго разговаривает с этим мальчиком о червях. Настает моя очередь. Я говорю, что написал рассказ о вымершем динозавре.

— О каком именно динозавре? — спрашивает Паустовский.

Я отчеканиваю латинское название динозавра, вычитанное в одной книге.

Паустовский, как ни странно, не проявляет желания продолжать разговор, в котором я мог бы блеснуть. Все, что касается динозавров, я знаю великолепно. Бегло кивнув, Паустовский обращается к следующему:

— Ну, а что расскажет нам твой сосед?

И это было все в тот вечер, в тридцать девятом году.

Я пришел в пустую квартиру, достал свои тетради с фантастикой и куда-то их закинул. Потом прошло лет восемь. Началась и кончилась война. В Литературном институте я был сначала в семинаре Константина Александровича Федина, потом, когда Федин надолго куда-то уехал, стал посещать семинар Паустовского.

НА ПЕРВОМ ЖЕ семинаре мы слышим суровое предостережение о том, что нет ничего тяжелее, и вновь эти слова скользят мимо сознания. Не с воспитательной ли целью говорится и не ради ли красного словца? Константин Георгиевич — романтик, склонен к преувеличениям. Ах, да попросту молодость, суета, юный графоманский энтузиазм! Сколько упущено, недооценено, не узано, сколько зимних и весенних вечеров потрачено на вздор, и когда медленно шли с Константином Георгиевичем и Константином Александровичем по бульвару — их семинары часто кончались почти одновременно, и они ждали друг друга в маленьком фойе на втором этаже, окруженные студентами, а я посещал то один семинар, то другой, «Костя, ты готов?», «Одну минуту, Костя!» — и понимали умом, что это благостные минуты, на воле, среди деревьев, в неторопливом гулянье после двух часов изнурительной, чадной говорильни, теперь бы спрашивать, узнавать самое важное и сокровенное, но глупость и вздор уже тащили куда-то, и казалось, что настанет какое-то еще более удобное

время для того, чтобы спрашивать, узнавать. Ничего не настало. Тогда на сырых бульварах и было лучшее время.

Впрочем, так было со мной, а с другими, вероятно, иначе.

Должны были пройти годы, чтобы мы убедились, как был прав Паустовский насчет тяжести писательской доли. Да, если относиться к этой доле так, как относился он. Его отношение к труду писателя было почти мистически уважительным. Любимой писатель — пускай маленький, незаметный, ничтожно успешный, но настоящий, — был для Константина Георгиевича существом в некотором смысле сверхъестественным. К нему предъявлялись особые требования, к обычным людям не применимые. Паустовский много думал и писал о людях, создающих книги. В предисловии к сборнику своих сочинений, на

да есть высшая ценность, добываемая искусством. И даже такая мелкая, бытовая, эфемерная правда, какую нащупал автор отрывка о театре, оказалась способной людей волновать, заставила их смеяться.

Значит, вот ради чего нужно стараться, вот что выкапывать из земли — правду, во всех ее видах. Я помню, как читал на семинаре рассказ, написанный, как мне казалось, «под Паустовского». Не специально, разумеется, так получилось. Впрочем, там была «смесь» Паустовского и Хемингуэя. От Паустовского были взяты герои, фон, среда: молодые геологи, где-то в горах, в Средней Азии. От Хемингуэя — стилистика: недосказанность, многозначительные паузы. Рассказ был написан очень быстро. Я был уверен, что рассказ удался — в те годы бывала такая оглушенность собой, — и рвался его прочесть.

Прочитал. Ребята как-то стесненно молчали. Константин Георгиевич, деликатно кашлянув, спросил, долго ли я его писал. Еще не выйдя из состояния глухоты, я ответил горделиво: — Всего три дня!

— Этот ваш рассказ... — начал Константин Георгиевич слабым и несколько натужливым голосом. Таким голосом, очень неохотно, через силу, он тянул обычно, когда собирался ругать, и тут я как бы вдруг очнулся. — Этот ваш рассказ, дорогой Трифонов, весь насквозь придуман. В нем нет ничего достоверного. Вы не знаете ни геологов, ни гор, ни Средней Азии. Единственное, что вам хорошо известно: как играют в ма-жонг.

Я с ужасом подумал: «Старик прав!» (Мы называли его между собою Стариком, вполне любовно, хотя он вовсе не был тогда стариком, да и впоследствии им не стал.) Действительно, я все придумал. А в ма-жонг я играл с детства.

— Но не понятно, зачем ваши геологи играют в эту игру ленивых китайских торговцев...

Единственная достоверность в рассказе была уничтожена. Наказание — я изменил правде. Что ж, нельзя придумывать? Долей вымысел? Вымысел становится искусством, когда в его сердцевине — правда. До этого я додумался позже.

Через несколько лет я познакомился с геологами, с горами и со Средней Азией. Весной 1952 года поехал в Туркмению. Что потянуло туда? Да, Паустовский тоже. Может быть, бесосознательно. Может быть, это был тот воздух, которым мы надыхались на семинарах, — путешествия, романтика, поиски достоверности. Константин Георгиевич много писал и рассказывал о географических картах. О своей любви их рассматривать. Каспий, Красноводск, пустыня вокруг Казанджика, долина Атрека — как я их излазил, исцупал, еще сидя в Москве! И, конечно, меня тянуло в унылый каспийский простор, знакомый со школьных лет, с «Кара-Бугаза», с лейтенанта Жеребцова.

Это было странное возвращение: в места, где я не бывал никогда. И в то же время — места моего детства.

Однажды на семинаре говорили о подтексте, о краткости, об умении отжимать жир, воду, оставлять мышцы. О том, что искусство писать есть искусство вычеркивать. Константин Георгиевич сказал, что давно мечтал написать предельно краткий рассказ — такой, чтоб уж больше ни одного слова вырвать нельзя, иначе рассказу конец, смерть.

Не знаю, выполнил ли когда-нибудь Константин Георгиевич эту рационалистическую задачу, что нет, ибо фантазия — neodолжимо свойство его писательского существа — неминуемо отвлекла бы в сторону. После института были встречи в Москве, в Переделькине, в Ялте. Влияние Константина Георгиевича на всех нас, его бывших учеников, продолжало расти, может быть, не прямо, отраженно, системно зеркала, ибо между нами были обстоятельства, пространства, годы...

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

